

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТАФОРЫ КАК УСЛОВИЕ ЕЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТИ

Общеизвестно, что наука, пусть даже самая «описательная», не работает с натуральными объектами. Чтобы некое явление или факт стали предметами научного исследования, их придется *сконструировать* в качестве *объектов науки* – сущностей, о которых можно говорить, но которые нельзя «потрогать».

Известный физик Л.И. Мандельштам любил в своих лекциях приводить пример с набором железных и медных шариков разного размера, который подлежит описанию. Если эти шарики сортировать с помощью сита, набор будет описан как состоящий из больших и маленьких шариков. Если же воспользоваться магнитом, то набор будет описан как состоящий из железных и медных шариков.

В этом на первый взгляд незамысловатом примере содержится мощная метафора: предмет науки – не мир «как он есть», а то, что сконструировал ученый. Делается это с помощью некоторой «волшебной» линзы, которую исследователь выбирает сам: в примере с шариками она принимает то вид сита, то вид магнита; в обоих случаях происходит разделение «мира шариков» на более «простые» – во всяком случае, более однотипные – структуры.

Мощь использованной Л.И. Мандельштамом метафоры пропорциональна ее прозрачности: очевидно, что *вне заранее заданного критерия описания* (за которым стоит определенная содержательная цель) любой признак, структурирующий исходный набор объектов, равноценен.

Если мне требуется разделить школьный класс на группы с единственной целью – избежать давки при посадке детей в автобус, я могу построить их по росту и предложить им «рассчитаться на первый-второй», после чего все строятся парами, и посадка начинается с тех, кто поменьше ростом, и осуществляется попарно.

Довольно ясно, что в отличие от сита, благодаря которому мы разделили исходный набор шариков по размеру, или магнита, в результате действия которого шарики разделяются по материалу, описанное выше деление школьного класса, скорее всего, будет иметь заведомо «одноразовый» характер, определяемый именно единичной прагматической целью: класс – не армейский взвод.

Пример Мандельштама замечателен тем, что на простом материале побуждает осознать, что метафора в научном рассуждении эффективна только тогда, когда она:

(а) прозрачна по своей семантике;

(б) *проще* того объекта или процесса, для объяснения которого метафора используется.

Мандельштам приводил пример с шариками ради того, чтобы показать, что выбор метода и определяемое выбранным методом описание неизбежно сопряжены с риском. Богатая метафора чаще всего так сложна, что не всегда служит своей цели, поскольку придется еще долго выяснять, какие ее содержательные аспекты эффективны для конкретных целей. Такова, например, метафора шахмат: можно ею пользоваться, имея в виду, что фигуры не могут передвигаться сами, их переставляет играющий в шахматы человек; вместе с тем, можно думать о том, что пешка – это именно «пешка», а не ферзь; опять же, можно во главу угла поставить непреложность *правил передвижения фигур по шахматной доске*: отсюда фразеологизм *ход конем* и т.п.

Бедная метафора, например, известное выражение Маркса «революции – локомотивы истории», проста, но едва ли что добавляет к пониманию смысла – в данном случае смысла понятия *революция*, как он уже сложился во времена Маркса: революции ускоряют движение истории, только и всего.

Эффективная метафора, выражаясь просторечно, должна быть «в самый раз» – семантически прозрачна и, вместе с тем, нетривиальна. Такова, с моей точки зрения, метафора «административного рынка», разрабатываемая С.Г. Кордонским¹.

В 60-е годы, стремясь внести ясность в лингвистические рассуждения, мы, тогда молодые структуралисты и «семиотики», восхищались знаменитым афоризмом Витгенштейна: «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать». Один из моих братьев по той далекой эпохе, талантливый ревнитель строгости Ю.И. Левин в 90-е годы так описал нашу общую эволюцию: «Я считаю этот методологический ригоризм одним из самых вредных явлений во всей истории философии: самооскопление, даже во имя идейной чистоты, не может быть плодотворным»².

Иначе говоря, следует поощрять *поиски ясности* – и эксплицитовать ступени этих поисков. Здесь уместно напомнить соображение Ю.С. Степанова, сформулированное им в статье «Культура», предваряющей его фундаментальный труд «Константы культуры»: «...значения тех обиходных слов, которые употребляются не только в общем языке, но и в науке, постоянно стремятся к научному понятию, как своему пределу, но достигают его каждый раз тогда, когда наука (или техника) уже оставила это понятие и, отталкиваясь от него, ушла вперед»³. Поскольку наука не описывает «готовый» мир – а именно в нем существуют натуральные объекты, – а творит свой мир, состоящий из концептов, организованных в систему, то исследователи всегда остро переживали малость собственных сил, испытывали от-

чаяние от непреодолимости препятствий, мучались от противоречивых импульсов.

Концепт выражается словесно, что порождает иллюзию простоты понимания его смысла, его *Sinn*. Так ребенок, выучившись читать по стихам Пушкина, надеется узнать из словаря Ожегова, что такое 'страсть'. Понимающе переглянувшись, спросим себя: а откуда может узнать пусть не ребенок, но хотя бы подросток, что «на самом деле» имеется в виду, когда в обычном тексте он сталкивается со словами *бессознательное, вытеснение, эдипов комплекс*? Концептуализация соответствующих переживаний, их воплощение в слова отчасти снимают проблему «безъязыкости» обычного человека, поскольку позволяют говорить о том, о чем ранее действительно оставалось лишь молчать. Я намеренно выбрала примеры из модели психического мира, основанной на теориях Фрейда. Именно метафорика Фрейда (в изрядно профанированном виде) стала источником обиходного употребления большого количества слов, метафоричность которых мы уже не ощущаем.

В методологическом аспекте метафора чаще всего *замещает* гипотезу. Ведь из гипотезы обычно стараются вывести следствия, чтобы далее попытаться эти следствия проверить. Метафора же чаще всего используется именно *вместо* гипотезы тогда, когда не удается сформулировать гипотезу, для которой выполняется условие наличия *очевидных проверяемых следствий*. Классический психоанализ как раз дает нам замечательный пример комплекса изоощренных метафор, *используемых вместо гипотез*. Впрочем, не только психоанализ.

МЕТАФОРА КАК ИЛЛЮЗИЯ ОБЪЯСНЕНИЯ В КОГНИТИВНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В известной работе Лакофф и Джонсон⁴ убеждают нас в том, что в естественном языке метафор существенно больше, нежели это ранее представлялось. При этом авторы наделяют метафору свойством универсального механизма, *объясняющего* многие феномены семантики и грамматики. Именно таково свойство так называемой *базовой метафоры*, в качестве которой этими авторами предлагается метафора человеческого тела.

«Базовость» здесь следует понимать следующим образом: поскольку наше тело дано нам в непосредственных ощущениях, то мы «размещаем» свое тело в пространстве в соответствии с этими ощущениями и уже из этой точки (или позиции?) структурируем все остальное пространство.

Это справедливое замечание дополняется сильным утверждением: созданное таким путем пространство *трехмерно*. Вот здесь я усматриваю натяжку, но не оттого, что хочу оспорить мерность субъективно внятного нам пространства, а потому, что обычный носитель языка вовсе не интересуется такими абстракциями. Точнее было бы сказать, что мы формируем наши представления о *пространстве как таковом* на основе того, что нам дано в непосредственных ощущениях, а их мы описываем словами *верх, низ, глубокий, широкий*, имея в виду «верх для нас», «низ для нас» и т.п.

Тем самым, авторы не без основания утверждают, что именно наше тело лучше всего репрезентирует для нас «мир Я» в его пространственных координатах. Но в упомянутой работе из этого делается более сильный вывод, а именно: все *прочие* пространственные отношения можно свести к тому, как мы мыслим расположение относительно нашего тела тех или иных объектов из мира «не-Я». А остальные отношения, более сложные по структуре, предлагается описывать как «надстраиваемые» над пространственными.

Итак, в концепции Лакоффа–Джонсона метафора «Я – мое тело» наделяется исключительной объясняющей силой. Мне же кажется, что сама эта метафора как таковая тоже нуждается в историко-культурном обосновании или подтверждении: она куда менее «прозрачна», чем это может показаться на первый взгляд.

Разумеется, выбор именно *пространственной* метафоры как «базовой» для описания любых отношений можно принять в качестве гипотезы, допущения. Но тогда нелишне будет отметить, что *гипотеза* (любая) вовсе не обязательно должна иметь *структуру метафоры*.

Впрочем, Лакофф и Джонсон отнюдь не одиноки в приписывании метафоре как таковой особой роли в освоении и описании мира. Более тридцати лет назад американский историк Хейден Уайт прославился книгой, где утверждалось, что главное в работе историка – это *литературные приемы*, причем не вообще «приемы», а прежде всего – тропы, метафоры⁵. Именно они, согласно Уайту, дают возможность создать эффект объяснения, позволяя обеспечивать не только связность изложения, но и строить интерпретативные сетки. Основы создания исторического канона, по Уайту, – «по своей природе поэтические, а еще точнее, языковые»⁶. Значит, и написание исторического труда должно рассматриваться в рамках *поэтики* – только не вообще поэтики, а поэтики истории. Уайт оговаривается, что его трактовка касается анализа текстов, предмет которых – исторические события и лица. «В этой теории я трактую историческое сочинение как то, чем оно по преимуществу и является: *словесной структурой в форме повествовательного прозаического дискурса*»⁷.

В общем, позицию Уайта можно было бы и не комментировать, если бы его амбиции состояли всего лишь в описании жанровых и стилистических особенностей исторических *повествований*. Уайт же претендует на существенно большее: он не ограничивается тем, чтобы напомнить нам, что «стиль – это человек»; он полагает, что труды по истории – это прежде всего литературные памятники, распределенные им по жанрам.

Но ведь историк не только *оформляет* свои знания как тексты; в отличие от археолога или палеоботаника, его исходный материал – это неизбежно и почти исключительно *тоже тексты*: события прошлого известны ему именно из текстов – будь то хроники, сакральные тексты, архивные источники и т.п.

Х. Уайт акцентировал то, что для одного историка процесс такого «оформления» подчиняется законам построения романа, для другого – законам трагедии и т.п. В общем, мир – театр (или книга)... Но где при этом размещается историк, где – его герои и где – читатели исторических сочинений, они же – зрители? А главное – где то *приращение смысла*, ради которого все эти построения затевались?

Впрочем, Х. Уайт далеко не первый, кто отвел *метафоре* особое место именно как инструменту создания новых смыслов в *научных* описаниях социума. Можно думать, что особое влияние на гуманитариев – этнологов и историков, и самого Уайта в том числе – имел подход американского антрополога Клиффорда Гирца, который выделил метафору как эффективный способ наделения мира смыслами – по Гирцу, именно такая деятельность называется *идеологической*⁸. В понимании Гирца, *идеология* имеет своей задачей осуществлять ту разметку социальной среды, которая позволяет коллективу и индивиду обживать социальное пространство. При этом главным инструментом «разметки» социальной среды, по мнению Гирца, служит троп.

Почему троп? Почему именно метафоре, пусть весьма широко понимаемой, Гирц отводит такую особую роль? Возможно, потому что сам процесс *разметки* мыслится им как *наречение объектов именами*. При этом новые имена естественно присвоить так, чтобы их семантика оставалась прозрачной, понятной. Тогда самый «короткий» путь – это снабжение чего-то нового *чертами известного*.

Так, если я хочу сказать, что некто обладал особыми гражданскими доблестями, и при этом остаться предельно краткой, то проще всего сделать это через троп, назвав это лицо, например, Катонем. Суть тропа – это наречение, именование точек *неизвестного* социального пространства с помощью присвоения новым означаемым таких означающих, которые уже освоены в *предыдущем социальном опыте*. Иными словами, это использование *механизмов переноса* –

притом самых разных, не обязательно только метафорических в узком смысле слова⁹.

Замечу, что при таком ракурсе рассмотрения не видно принципиальной разницы между выражениями *картофель – второй хлеб* и «*Пиндару он подобен*». Достаточно вообразить представителя иных культур, который не знает понятия ‘хлеб’ и не знает, кто такой Пиндар, как становится понятным, что указанные уподобления в этом случае не будут работать, поскольку тогда одно неизвестное описывалось бы через другое неизвестное. Это нехитрое соображение возвращает нас к вопросу о семантической прозрачности метафоры.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ МЕТАФОРЫ

Для начала напомним остроумное замечание «отцов» кибернетики – Н. Винера и Ф. Розенблюта, высказанное ими еще на заре увлечения кибернетическим моделированием: в качестве примера модели, объясняющей функционирование нервного аксона, они привели попытку использовать процессы, протекающие в медной проволоке, опущенной в азотную кислоту. На деле же «поведение» проволоки в этой ситуации понятно не лучше, чем «поведение» аксона: мы, собственно, и сегодня не знаем, что в указанной ситуации «происходит» в проволоке. Метафора «*проводимости* в проволоке», таким образом, оказывается непрозрачной и потому неэффективной – она не продвигает нас по пути понимания процессов проводимости нервного импульса. Тем самым эта метафора – типичная попытка объяснить неизвестное через якобы «наглядное», однако же *непонятное*.

Рассмотрим три примера метафор, все еще употребительных в гуманитарном дискурсе.

«Полушарная» метафора

«Полушарная» метафора, которая, как кажется, еще не полностью потеряла былую популярность, – это классический пример объяснения неизвестного через непонятное. Дело в том, что в норме и притом *in vivo* левое и правое полушария нашего мозга всегда функционируют совместно и нерасторжимо. Поэтому разговоры о том, что некоторые феномены или структуры языка и речи сугубо «правополушарны», а иные, напротив, «левополушарны», не столько упрощение, сколько проявление дилетантизма. Физиологи, вообще говоря, *умеют* наблюдать некоторые функции каждого из полушарий по отдельности и в *норме* – т.е. у человека без очаговых поражений мозга или при нерассеченном мозге. Однако это возможно только

in vitro, в условиях весьма сложного эксперимента¹⁰; *in vivo* условия, когда сигнал из внешнего мира поступает для обработки только в левое полушарие или только в правое, не встречаются. Поэтому объяснение каких-либо языковых/речевых феноменов *in norme* с помощью полушарной асимметрии вне специфических лабораторных условий бессодержательно: с одной стороны, давно известно, что функции полушарий различны – это касается языка и речи, восприятия музыки и цвета, процессов узнавания и запоминания. С другой стороны, совершенно непонятно, как конкретно реализуется совмещение всех этих функций в режиме реального времени.

Конечно, можно сказать о человеке с очень развитым логическим интеллектом при существенно менее развитом образном мышлении или плохой памяти на лица, что он *как бы* «левополушарный». Соответственно, о ребенке с ярко развитым образным мышлением, чувством цвета и сравнительно менее продвинутом развитием собственно «логического», понятийного аппарата – что он *как бы* «правополушарный».

Желательно, однако, не забывать, что это всего лишь фигуры речи; метафоры, которые сводятся всего лишь к вышеупомянутым констатациям. Разговоры о «право» – или «левополушарности» не могут претендовать даже на эскизное *объяснение* процессов мышления и речи в норме. С этой точки зрения полушарная метафора бесполезна.

Этот пример наглядно иллюстрирует тот факт, что метафора как инструмент понимания должна быть не только семантически прозрачна, но еще и не допускать множественности интерпретаций. Только при этом условии имеет смысл использовать метафору при размышлениях о структуре или поведении объекта, механизм функционирования которого мы не можем наблюдать.

Однако привлекательность «полушарной» метафоры и ее популярность должны иметь некие объяснения. С моей точки зрения, секрет здесь в том, что «полушарная» метафора создает *иллюзию объяснения идеального через материальное*. Я вижу здесь проявление желания свести сложное к чему-то более простому через квазиредукционизм худшего толка, в соответствии с которым всегда хочется изыскать прямой психофизиологический коррелят для «идеального», т.е. объяснить функционирование *mind* через функционирование *brain*.

За этим стоит вполне определенная, хотя чаще всего не осознаваемая эпистемологическая установка. Она заключается в том, что признается существование только *одного уровня реальности*. По существу, мы имеем здесь дело с непризнанием реальности идеального¹¹. Собственно, это и есть самый элементарный механистический мо-

низм. Что бы ни говорилось, в действительности многими учеными признается только реальность материи, каковая обладает свойствами непроницаемости, протяженности и весомости. (Как известно физикам, под эти критерии не подходит уже представление о физическом поле.) Гуманитариям, казалось бы, должно быть ясно, что мышление не менее реально, чем локомоции или пищеварение, с той разницей, что это реальность *иного уровня*.

Разумеется, мысль нельзя «зарегистрировать» в том смысле, в каком можно зарегистрировать преобладающую активность того или иного полушария на энцефалограмме. Но ведь вполне реальное отношение «отцовства» тоже нельзя «зарегистрировать» в том смысле, в котором можно определить биологическое отношение «отцовства» путем хромосомного анализа! Проблема, следовательно, в том, что необходимость в псевдообъяснениях с помощью «полушарной» и других физиологических метафор отпала бы, если бы за языком, мышлением, сознанием, личностью была признана *реальность особого уровня*. Для этого надо отказаться от привычного для нашей культуры «голоса свыше», который как бы предписывает непременно искать материальный субстрат мыслительных процессов.

Известны слова Марка Блока: «Одним словом, вопрос уже не в том, чтобы установить, был ли Иисус распят, а затем воскрес. Нам теперь важно понять, как это получается, что столько людей вокруг нас верят в распятие и воскресение»¹².

Следует задуматься над тем, как это получается, что «образованные» люди верят в то, что существует (в норме!) право- и левополушарное мышление, притом первое – это склонность к мышлению в образах, а второе – к мышлению в логических структурах. Дело даже не в том, что имеет место такая *вера* сама по себе, а в том, что с этой верой обращаются как со *знанием*.

Мысль, совершающаяся в слове

Известно и даже популярно изречение Л.С. Выготского: «мысль совершается в слове». Это, разумеется, метафора, но что за ней стоит? Пора признаться в том, что мы не *пользуемся* метафорой Выготского, а лишь воспроизводим соответствующую фразу. Странно было бы ожидать иного от полностью непрозрачной метафоры. Но ее неистребимая популярность имеет свои резоны. Остановимся на них подробнее.

Примитивная трактовка идеального заставляет считать, что в диаде «мысль – слово» *реально* только слово, поскольку оно *видимо* или *слышимо*. Отсюда же становится понятным, почему акцент (по крайней мере, в отечественной науке) постоянно делался на изыска-

нии вербальных и любых других материальных (физиологических) коррелятов мыслительных процессов.

Сам факт наличия материального субстрата или материального коррелята полагался как бы развязывающим все узлы. Тогда понятно, отчего вербальное мышление – т.е. мыслительные операции со словами или над словами – изучалось более пристально, чем невербальное мышление. Суть дела не только в том, что это проще, но и в том, что идеальные, не воплощенные в материальную оболочку объекты не понимались как объекты с особым модусом существования.

Я далека от мысли заподозрить такое «плоское» понимание антитезы вербальное–невербальное у П. Тульвисте, автора книги о заведительствованных в истории психологии концепциях вербального мышления¹³. Однако же и этот автор, с одной стороны, не отрицает существования иных форм мышления, нежели вербальное, но, вместе с тем, нигде не упоминает о них. Как отметил в рецензии на книгу П. Тульвисте А.Л. Тоом¹⁴, существительное «мышление» на протяжении книги появляется то с прилагательным «вербальное», то без него, но без систематической разницы в контекстах. Складывается впечатление, что автор не придает значения различию между «мышлением как таковым» и вербальным мышлением.

Но ведь, строго говоря, наше мышление в значительной своей части является именно невербальным! А.Л. Тоом, математик с большим педагогическим опытом, заметил, что для многих детей, не справляющихся с решением сравнительно простых математических задач, трудность лежит именно в том, что они не умеют переводить текст стандартной школьной задачи в *невербальный* модус – в частности, в модус зрительных образов. Например, за текстом «задачи о поездах» дети не в силах увидеть прямую с неподвижными точками, отображающими пресловутые города А и Б, из которых навстречу друг другу мчатся поезда. Но оставаясь на уровне чисто вербальном, ребенок не понимает, какие действия и с какими числами ему надо совершать.

Аналогичную трудность у детей, «замкнутых» на вербальное мышление, порождает операция абстракции, связанная с переходом от количества, «привязанного» к предмету, к количеству как абстрактному понятию. От формулировки «У бабушки было шесть гусей, один улетел, сколько осталось?» и ей подобных, ребенок с трудом переходит к записи $6 - 1 = ?$ Мысль, если угодно, не получает здесь возможности «совершиться в слове». И дело вовсе не в вычитании как логической операции. Просто *цифра*, в отличие от слова, не имеет для такого ребенка никакого *означающего*. Иначе: цифра – это далеко не число, хотя учитель не всегда вникает в эту разницу. Для ребенка, который умеет «считать» до 20 и даже до 100, цифра

сплошь и рядом всего лишь крючочек, т.е. *не знак*. Соответственно, за «крючочком» для такого ребенка ничего не стоит, в то время как за цифрой должна стоять определенная абстракция – число. (Я не настаиваю на том, что формированию такой абстракции должен предшествовать именно наглядный зрительный образ; это лишь один из возможных путей.)

Еще сложнее ситуация, когда ребенку предлагается решить уравнение вида $5 - 1 = X$. В самом деле, что значит «вычитание»? Чтобы наполнить эту операцию доступным для ребенка смыслом, надо уйти с вербального уровня. А.Л. Тоом описывает в упомянутой выше работе, как он показал своей маленькой дочери смысл операции «вычитание», отрезая ломти от большого куска хлеба.

Интересно отметить, что математически одаренные дети, как правило, легко переходят с вербального уровня на уровень зрительных представлений и обратно; их мышление более гибко и многопланово. Они не всегда могут найти подходящее дискурсивное объяснение того пути, который они прошли при решении задачи, что, впрочем, характерно и для взрослых математиков, но зато переход от текстовой записи к стоящим за ней знаковым операциям не вызывает у них сложностей.

Возвращаясь к метафоре Выготского, признаемся: хотя мысль опирается на знак (а этот знак вовсе не обязательно должен быть *словом*), мы понятия не имеем о том, как мысль *совершается*.

Вообще говоря, это поразительно. Ведь мы умеем обучить слепоглухонемого ребенка воспринимать и даже понимать окружающий мир¹⁵, а при этом плохо понимаем, как именно формируется используемая им знаковая система.

«Компьютерная метафора» в изучении языка и когнитивных процессов

Укажем на следующий важный мотив, общий для обсуждения проблем языка, мышления, культуры. Всякий раз явно ощущается отсутствие метаязыка, пригодного для общих теоретических построений – отсюда, в частности, попытка увидеть своего рода универсальную отмычку в *метафоре текста*. Известна отнюдь не апокрифическая фраза одного из учеников Ю.М. Лотмана: «Что наша жизнь, если не текст?» (Странно, что никто не возразил: «наша жизнь – игра» – впрочем, игру тоже можно рассматривать как «текст».)

Некогда под влиянием иллюзий о всемогуществе *computer sciences* в качестве такого метаязыка был выбран (и продолжает использоваться) язык компьютерных аналогий. Как много лет назад сказал выдающийся американский психолог Дж. Брунер¹⁶, тогда

представлялось, что, получив в свое распоряжение соответствующую программу, мы можем использовать ее как действующую модель интеллекта. Это приводит к далеко идущим последствиям, из которых для данного обсуждения важны следующие.

«Компьютерная метафора» может быть полезным инструментом только в той мере, в которой ее сугубая метафоричность остается предметом научной рефлексии. Мы должны помнить, с какой целью эта метафора создана и в каких границах применима. Однако влияние именно компьютерных аналогий в своих минусах представляется значительно более сильным, нежели влияние упомянутого выше физиологического редуционизма, поскольку компьютерные модели овеществлены в виде реально работающих и весьма эффективных объектов: вычислительных машин и сетей.

Ощущение чуда и всемогущества машины подкрепляется тем, что в современных компьютерах все больше рутинных интеллектуальных операций реализованы аппаратно, т.е. все эти операции «запаяны в железо». По мере расширения возможностей компьютеров и их внедрения в повседневность эти иллюзии все менее осознаются и все более углубляются. Это приводит к усилению механистичности в представлениях о структуре когнитивных процессов. Компьютер кажется могущественнее человека. Тем больше уверенность, что он может успешно моделировать человеческую деятельность – прежде всего, познавательную. При этом странным образом не рефлектируются ни источники этого могущества, ни источники ограничений.

Необходимым печальным следствием из этой мифологемы является онтологизация той «схемы мира», с которой работает компьютер. После того как неявно и без рефлексии укореняется мифологема о том, что машина может создать нечто адекватное модели наших знаний, в том числе нашего знания языка и/или о языке, укореняются представления о том, что человек в некотором роде устроен наподобие компьютера.

Например, употребляя выражение «словарь символов» применительно к человеку, мы забываем, что нам неизвестно ничего о том, что в действительности представляют собой сами эти символы. Говоря об операциях с символами, мы опускаем то обстоятельство, что мы не знаем, что это за операции – а ведь, скорее всего, они отнюдь не сводимы к тем, которые известны нам из формальных логик.

Одновременно неявно формируются и уже воспринимаются как сами собой разумеющиеся представления о том, что наше «интрапсихическое» содержит в себе эти символы, а также «сети», «узлы», фреймы, скрипты и т.п. объекты совершенно так же, как подобные объекты «содержатся» в компьютерных моделях или даже в памяти компьютера.

Таким образом, компьютерная модель проецируется на реальный мир и, в пределе, начинает претендовать на его подмену.

Заметим, что еще у Пиаже, т.е. до появления компьютерных технологий и вне связи с ними, мы находим описания познавательных процессов человека, сформулированные в терминах, заимствованных из формальной логики. В частности, не вполне ясно, понимал ли Пиаже, что слово *операция* должно было бы быть интерпретировано метафорически. До сих пор многие влиятельные авторы как бы забывают, что формальная логика имеет прескриптивный, а не дескриптивный характер, а поэтому поведение человека едва ли может быть описано в ее терминах.

Существенно также, что, в отличие от жестко запрограммированного компьютера, человек может решать *сходные* задачи *разными способами*, в силу чего неоправданными оказываются концепции, построенные по схеме «или-или»¹⁷. И еще один не менее важный момент: человеческий интеллект тем мощнее, чем больше его возможность оперировать крупными блоками, которые могут укрупняться и разукрупняться «по ходу дела», т.е. применительно к контексту задачи.

Каждая аппаратно реализованная функция также может, вообще говоря, соответствовать большому набору операций, но она жестко *задана* раз и навсегда. Уже поэтому никакая аппаратно реализованная функция не может быть моделью сложных психических операций. Напротив того, принципиальным свойством человеческой психики является ее пластичность: человек формирует нужные ему блоки в зависимости от контекста, т.е. не одним определенным способом, как это задано программой, а любыми способами, полезными в каждом отдельном случае¹⁸. В этой связи уместны некоторые замечания, касающиеся ситуации состязания интеллекта человека и «интеллекта машины». В свое время немалый интерес вызвал поединок между Гарри Каспаровым и шахматной программой, реализованной на суперкомпьютере «Deep Blue». Каспаров проиграл компьютеру. Я обсуждала эту тему с профессионалами в области *computer sciences*, пытаясь уточнить, в чем состоят принципиальные отличия «Deep Blue» от прочих компьютеров. Оказалось, что преимущества «Deep Blue» в конечном счете сводятся к фантастическому быстродействию, в результате которого при каждом ходе «противника» машина мгновенно может актуализировать любые заранее помещенные в ее память шахматные партии, чтобы выбрать ход, который имеет для данной позиции наилучшие перспективы. Иначе говоря, преимущества машины сводятся к тому, что она быстрее человека осуществляет запрограммированный перебор возможностей — но это и все.

Но опытный шахматист вообще *не перебирает возможности!* Его опытность и стратегическая мощь в том и состоит, что он видит не набор клеток с фигурами, а *позицию*: всю партию одновременно, как гештальт, в перспективе и ретроспективе. Поэтому создание программы, которой оснащен «Deer Blue», отнюдь не приближает нас к разгадке операций, совершаемых человеком.

Заодно отмечу мотив, быть может, далекий от читателей, принадлежащих к «поколению *next*», то есть привыкших к максимально-му использованию возможностей современных компьютеров, так что они уже не задумываются над тем, каким образом, например, «Яндекс» успешно реализует поиск, даже если в запросе указан другой падеж или число существительного и т.п. И никто не предполагает, что «Яндекс» (или любая другая поисковая система) моделирует то, как сходные задачи решает человек.

А ведь автоматический анализ текста, так существенно способствовавший становлению современной лингвистики в конце 50-х – начале 60-х годов, рассматривался исследователями именно как модель анализа текста человеком. Как раз эта проблематика – и первые успехи автоматического анализа текста (тогда это называлось *машинный перевод*) – более всего способствовали онтологизации компьютерной метафоры. Однако избранный первопроходцами путь, в основе которого лежал сильно усовершенствованный, но все-таки именно *лингвистически фундированный* анализ текста, оказался прагматическим тупиком.

ИГРА МЕТАФОР

За сорок лет жизни в науке я не потеряла уверенности в том, что все, что считается «научным» в гуманитаристике, может быть объяснено на пальцах любому, кто понимает разницу между *raison* и суждениями в духе «взгляд и нечто». Я так возгордилась, что даже во вполне академической статье рискнула озаглавить разделы «Психолингвистика как взгляд» и «Психолингвистика как нечто». И все стало на свои места. Конечно, иллюзорное, но все-таки несомненное стремление описывать реальность с позиции *raison*, упирается в непроницаемость объекта, не позволяющую судить о том, что же имеет место «*на самом деле*». И все же, выбрав *научную* парадигму, т.е. избегая по возможности эссеистических критериев, мы должны не поддаваться соблазнам внешней эффектности или образности.

Непрозрачные метафоры обычно допускают весьма широкую трактовку, в результате чего научные критерии незаметно преобразуются в стремление получить «удовольствие от текста». Мы

здесь тоже играем в бисер – но по собственным правилам! Ну, что же... Каждому свое. А можно ли ваши правила вывесить за спиной у каждого игрока? В некотором роде – да. Н.С. Автономова этому посвятила предисловие к «Грамматологии» Деррида на 100 страницах, т.е. написала еще одну книгу – среди прочего, о *правилах игры*, предложенных именно Деррида.

О правилах Фуко, Барта, Лакана, Делеза и Гваттари придется писать отдельно. Люди и пишут. Много. Я наивно надеялась, что в том, что считается «правилами Лакана», я как-то разберусь, поскольку серьезно занималась клинической психиатрией – но не тут-то было. В Интернете есть огромный сайт о Лакане – поистине кладбище попыток, предпринятых прочими интересующимися, теми, кто не оставил надежды навсегда.

Наше «обхождение» с метафорой как с инструментом научного познания не позволяет забыть, сколь долго мы в России вынужденно пребывали вне общемирового времени.

...Представьте себе Монтеня, попавшего в круг Льва Толстого, который уже пришел к необходимости опрощения. Какое описание феномена толстовства мы бы получили? Сделанное Кандидом.

¹ См.: *Кордонский С.Г.* Рынок власти. Административные рынки СССР и России. М., 2006.

² *Левин Ю.И.* Истина в дискурсе // Семиотика и информатика. М., 1994. Вып. 34. С. 12.

³ *Степанов Ю.С.* Константы. Словарь русской культуры. М., 1997. С. 33.

⁴ *Lakoff G., Johnson M.* Metaphors we live by. Chicago; L., 1980.

⁵ *Уайт Х.* Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. Екатеринбург, 2002.

⁶ Там же. С. 50.

⁷ Там же. С. 17.

⁸ *Гириц К.* Идеология как культурная система // *Гириц К.* Интерпретация культур / Пер. с англ. М., 2004; *Зорин А.Л.* Корма двуглавого орла... М., 2001; *Козлов С.Л.* К преодолению одной фобии // Новое литературное обозрение. М., 1998. № 29. С. 5–6.

⁹ Ср. *Lakoff G., Johnson M.* Op. cit.

¹⁰ Ср., например: *Невская А.А., Леушина Л.И., Павловская М.Б.* О межполушарных различиях в способах обработки информации // Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982. С. 76–93.

¹¹ *Любимцев А.А.* О критериях реальности в таксономии // Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода. М., 1971. Вып. 1. С. 67–82; *Шрейдер Ю.А.* Сложные системы и космологические принципы // Системные исследования. 1975. Ежегодник. М., 1976. С. 149–171.

¹² *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 21.

¹³ *Тулвисте П.* Культурно-историческое развитие вербального мышления. Таллинн, 1988.

-
- ¹⁴ Тоом А.Л. Личный опыт и научное мышление // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989. С. 95–103.
- ¹⁵ Читателю может быть интересна следующая работа: Фрумкина Р.М., Браудо Т.Е. Роль мотивации в развитии речи и интеллекта у детей с нарушением логогенеза // Известия РАН. Отделение литературы и языка. 2004. Т. 63, № 3. С. 38–46.
- ¹⁶ Bruner J. Acts of meaning. Cambridge; L., 1990.
- ¹⁷ Frumkina R.M., Mikhejev A.V. Meaning and categorization. N.Y., 1996.
- ¹⁸ Фрумкина Р.М. О специфике гипотез в психолингвистике // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980; Фрумкина Р.М., Звонкин А.К. Абстракции с языковой поддержкой // Язык и структура знания. М., 1990. С. 86–95; Звонкин А.К., Ларичев О.И., Касевич В.Б., Фрумкина Р.М. Представление знаний как проблема // Вопросы языкознания. 1990. № 6. С. 85–101; Фрумкина Р.М., Михеев А.В., Мостовая А.Д., Рюмина Н.А. Семантика и категоризация. М., 1991.